«Петербургский дневник» представляет

Михаил Кураев

Прозаик и кинодраматург.
Родился в 1939 году
в Ленинграде, в семье инженера.
Ребенком пережил блокаду.
Более 25 лет работал
на киностудии «Ленфильм»
в сценарной коллегии

БЛОКАДА

Писатели на войне, писатели о войне

Михаил Николаевич Кураев

Блок-ада

Серия «Писатели на войне, писатели о войне»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18481745
Блок-ада: Информационно-издательский центр ОАО «Петроцентр»; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-91498-060-0

Аннотация

«БЛОК-АДА», непривычным написанием горестно знакомого каждому ленинградцу слова автор сообщает о том, что читателю будет предъявлен лишь «кусочек» ада, в который был погружен Город в годы войны. Судьба одной семьи, горожанина, красноармейца, ребенка, немолодой женщины и судьба Города представлены в трагическом и героическом переплетении. Сам ленинградец. Михаил Кураев, рассказывая о людях, которых знал, чьи исповеди запали ему в душу, своим повествованием утверждает: этот Город собрал и взрастил особую породу людей, не показного мужества, душевного благородства, гражданской непреклонности. Только они, не мыслившие ни для себя, ни для Города неволи, порабощения врагом, могли выстоять в самую тяжкую и, казалось, безысходную пору.

Содержание

ЗАЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ЭТИ КАМНИ? 4
БЛОК-АДА 12
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Михаил Кураев
Блок-ада

ЗАЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ЭТИ КАМНИ?

Камни, поверженные погромщиками на Серафимовском мемориальном кладбище, падали не шумно, но их падение отозвалось гневом и громким возмущением и в прессе, и в сердцах горожан. Камни водружены на место, но есть раны, заживающие на теле быстрее, чем в душе.

Бесчинство на любом кладбище – свидетельство одичания, но вакханалия, учиненная рядом со свежими могилами моряков «Курска», рядом с братскими могилами многих тысяч безымянных мучеников блокады, – свидетельство особого рода цинизма, это вызов.

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». Диагноз Пушкина лаконичен и точен. Увы, набеги диких орд на питерские кладбища в последние годы вовсе не редкость. В проявлениях вандализма спешили видеть лишь националистическую или мародерскую подоплеку, и «все» становилось ясно. Но вот всплеск «бескорыстной» дикости и озверения.

Что же ясно теперь?

Мы имеем проявление очень глубокой и очень опасной болезни, способной порождать неконтролируемые и непредсказуемые вспышки террора. Как возник, откуда пошел этот огонь, опустошающий души, испепеляющий память, обращающий людей в нелюдей? Это расплата за общественное лицемерие, это расплата за покушение на историческую память.

О лицемерии чуть позже, сначала о памяти.

Сегодня уже двадцать – двадцать пять лет тем, кто знакомится с историей «этой страны», как цинично величают временные жители наше Отечество, по хохмам эстрадных трепачей, по приколам, по продукции забавников и затейников на исторические темы.

Человек, которого никак не заподозришь в отсутствии чувства юмора, советский Свифт, Евгений Замятин, предупреждал: «Во всякую шутку неявной функцией входит ложь».

Забавники, затейники и хохмачи стали действительно властителями дум. История для них – лишь повод для приколов. Победил бы Карл под Полтавой, хи-ха-ха, жили бы как шведы! Не противились бы японцам, ха-хи-хи, жили бы как японцы! Не победили бы немцев, все ходили бы в «бундосовом прикиде». Ха-ха-ха…

Как отделить черное от белого, как понять, где избыток чувства юмора оборачивается глумлением, где веселый треп

становится паскудством…

«Зачем, дядя, так резко? Вот мы за «Клинским» сбегали и оттягиваемся. А тебе можем натянуть вот это на это!» Шпана на Серафимовском ведь тоже «оттягивалась».

Где, на каком рубеже самоирония, свидетельство прежде всего духовной силы, оборачивается самоуничижением, самооплевыванием, свидетельствующими о плебейском заигрывании с сильными в расчете на барскую улыбку, а то и благодарность. Недаром же греческие мудрецы меру и соразмерность считали ключом мироустройства. На каком слове игра, по пословице, уже не ведет к добру? Может быть, заигрались?

Антон Павлович Чехов, знавший и человеческую природу, и нас, своих соотечественников, предупреждал о том, что свободой слова воспользуются прежде всего те, кому не хватало свободы для клеветы.

«Чехов против свободы слова?!»

Успокойтесь, истерические защитники демократических ценностей, не вам Чехова подозревать и держать на примете. Вы сами знаете да умеете при надобности забывать о том, что любое лекарство может стать опасным. А уж блокадникам ли не знать, что при алиментарной дистрофии кусок свежего хлеба может спасти, а может и убить человека.

Для людей, пребывающих в состоянии нравственной дистрофии – а болезнь эта приобретает эпидемический характер на всех социальных уровнях, – все, что здоровому впрок,

грозит разложением заживо.

«Ах, вон оно что! Свобода ему все-таки не нравится!»

Свобода для шпаны, свобода для бандитов, свобода для издевающихся над миллионами людей экспериментаторов уже нового призыва, свобода для паразитирующих на людских бедах барышников, свобода оболванивания и оскотинивания людей – не нравится, ничего не могу тут поделать. И общество, не способное защититься от лжи и насилия, тоже не нравится.

Можно метать стрелы и пламенеть гневом в адрес одичавших молодых людей, для которых действительно уже нет ничего святого. Да вот только росли они и видели перед собой примеры и образцы лицемерия тех, кто, «возрождая Россию», загнал за черту бедности половину населения, тех, кто учинил ваучерную разворовку, кто не может гарантировать безопасность ни политику, ни банкиру, ни садоводу. Приватизация создала экономическую базу криминалитету, но итоги ее святы! Борьбу с криминалом первый президент свободной России не счесть сколько раз брал под личный контроль.

«Им можно, – рассуждает вступающий в эту жизнь молодой человек, думающий «делать жизнь с кого». – Им можно врать нагло и многократно, присваивать не своим трудом созданное, объявлять накануне крушения рубля о его небывалой крепости. Распределяя кредиты, инвестиции, компенсации узникам фашистских лагерей, они бегут впереди воров:

а я-то чем хуже?»

Когда я был в Ставропольском крае, казаки рассказывали о постоянных набегах вооруженных банд с чеченской стороны.

– Почему не даете отпора? Вы же казаки!

– Нам запрещено иметь оружие.

– А им не запрещено?

– Нам объяснили: оружие является частью чеченского национального костюма.

Потом эти же слова я услышал от респектабельного правозащитника из Москвы: «Военные атрибуты всегда были традиционной деталью национального костюма чеченца!»

– Гранатомет!? Автомат!? Миномет!?

– Но это же мы им все оставили. Сами же вооружили.

Да, у этих господ на все есть много-много слов, они и работорговлю, не моргнув глазом, отнесут в разряд бытовых традиций свободолюбивого народа.

Знают ли сегодня о том, что предшествовало этой проклятой чеченской войне? Знают ли о том, сколько лет творились бесчинства в русских станицах, отданных в прежние времена в социалистическую Чечено-Ингушетию? Кто предъявлял обществу списки убитых и изнасилованных, ограбленных и выгнанных из жилищ? Оказывается, нас все это интересует так же мало, как свободолюбивого лорда Джадда.

И о чеченской войне, и о тех, кто ее спровоцировал, кому нужна была «черная дыра» для перекачки несметных де-

нег, знал генерал Рохлин, хотел знаниями своими поделиться, но… жена, как пытаются нас уверить, ему этого не позволила. И новейшую, на наших глазах происходящую историю от общества прячут, превращают в материю для нового платья новоявленных королей и магнатов.

Надо ли удивляться, что не только московские школьники, но и подчас почтенные люди не знают, зачем защищали «эти камни», почему Ленинград стоял насмерть.

Хохмы и приколы по поводу всего на свете, в том числе и о войне, знают, а что действительно ждало город и его жителей, узнать недосуг.

А ленинградцев убивали не только в Ленинграде.

…В апреле сорок второго по льду, уже покрытому полуметровым слоем воды, выезжали из города через Ладогу детские дома Кировского района. Вырвались и двинулись на Кубань. В станице Родниковской Краснодарского края эшелон с ребятишками из блокадного Ленинграда встречали рано утром молоком, медом, орехами и первой редиской. Встречали как родных. В станице нашли приют два ленинградских интерната.

В августе немцы прорвались на Кавказ. Директор интерната № 41 Вера Ивановна Чернуха вывела своих воспитанников, бросив все имущество, все пожитки. На открытых платформах с военным грузом последним эшелоном, уходившим из Родниковской, она вырвала ребят из западни.

Судьба второго интерната, не сумевшего покинуть стани-

цу, как в капле крови отразила судьбу, уготованную гитлеровцами нам, ленинградцам. Сначала были уничтожены дети. Сотрудники были заключены в лагерь, затем задушены в газвагонах.

Впрочем, можно почитать и сентябрьские директивы Гитлера, еще в сорок первом году подписавшего приговор городу и нам.

В основе фашистского мировоззрения и вожделенного людоедами мироустройства лежит агрессивное скотство, основанное на «глубоко научном» утверждении исторического превосходства одного вида над другим. Откуда же взялось это чувство превосходства у тех, кто своими ногами, а следы ног на порушенных надгробиях отчетливо видны, сделали то, что могла совершить лишь нога оккупанта?

Дошутились. Доиграли. Доизвертелись в оправдании свинства и скотства.

Человек рождается существом довольно беспомощным. Немногие дети, в младенчестве ставшие приемными детьми у животных и выжившие, не только не смогли, попав к людям, выучиться говорить, но и ходить на двух ногах не смогли, освоив с ранних лет удобство передвижения на четвереньках. Ромул и Рэм, Маугли, увы, это сказки. Человек может стать человеком лишь в сообществе людей.

Вот и нелюди произрастают и благоденствуют не в безвоздушном пространстве, а на нашей сугубо грешной и грехов своих не желающей знать земле. И что бы ни говорили, битва

ленинградцев за свой город, борьба всей страны за Ленинград, за свободу и независимость Родины, как тогда говорили, была войной за наше человеческое достоинство.

И пока животное, скотское, дикое будет стремиться утвердить свое наглое превосходство, и не только на кладбищах, войну, быть может, рано считать оконченной и город и его камни защищенными.

БЛОК-АДА
Праздничная повесть

… аща сии умолчат, камение возопиет.
Ев. от Луки, 19:40

Матушка моя принадлежала к «тем редким натурам, к которым природа и судьба являют свою щедрость и благосклонность, не сомневаясь ни на одно мгновение в том», что дары, врученные своему избраннику, вручены созданию истинно благородному и не будут употреблены сколько-нибудь недостойно.

Наделенная редкой внешностью, она несла дарованную ей красоту с царственной легкостью, с той естественностью, которая свойственна лишь подлинным созданиям при-роды, нисколько не озабоченным тем, чтобы прилагать усилия для привлечения к себе внимания.

По нынешним временам женщина, располагающая хотя бы четвертой частью маминой привлекательности, но лишенная ее душевной конституции, проходит длинной чередой мужей и ко времени пышного увядания накапливает изрядную библиотеку романов самого неожиданного свойства.

Мама вышла замуж довольно поздно и лишь один раз.

Еще живы предания об отвергнутых соискателях маминой руки, в том числе и о капитане дальнего плавания,

водившем грузопассажирский пароход «Алексей Рыков», украшенный одной, но очень внушительной высокой трубой, в Англию и Германию.

«Мама, почему ты не вышла замуж за этого Костю?»

«Он был очень длинный, как труба на его «Рыкове». Я стеснялась с ним на улице появляться, все оборачивались. Куда ж это годится?»

Потом «Алексея Рыкова» переименовали в «Коминтерн», а потом капитана «Коминтерна» расстреляли, наши.

За каждым из претендентов на мамину руку сохранялась неизменная характеристика, звучавшая при просмотре старых фотографий, на которых мама всегда была среди подруг и приятелей.

«Это Кульдинский, ухаживал необыкновенно, но дурак был фантастический, даже на карточке видно… А ведь красивый…»

«Это Виктор, бабушкина симпатия, нравился ей просто ужасно, чудесный, добрый человек, только глаза как у собаки после порки…»

«Леша, ты Леша! Явился объясняться в зеленом галстуке, он о любви, а меня смех разбирает, ну о чем тут было говорить… Как говорится: виноват, что сероват…»

Папа женился на маме, имея в жениховском гардеробе красные трусы, может быть, даже единственные. Эти красные трусы ставились ему на вид всю жизнь. В ответ на это папа требовал мраморный столик, который был обещан в при-

даное. То, что, кроме мраморного столика, за невестой ничего не было, отца не смущало, но и мраморный столик получен не был, и отец всякий раз требовал его представить, когда мама припоминала ему красные трусы.

«Анечка, Аник, лучше этот разговор не заводить, трусы по крайней мере были, а вот столик я хотел бы наконец увидеть, почему-то за все десять, двадцать, тридцать пять, сорок и, наконец, сорок семь лет! – мне его так ни разу и не показали. Напрашивается мысль: а был ли столик, может быть, это только крутня?»

«У меня такое впечатление, что ты мне не веришь. Я хоть раз за десять, двадцать, тридцать пять, сорок и, наконец, сорок семь лет, хоть раз сказала неправду?!»

«Хорошо, но могу я хотя бы увидеть, только увидеть мой столик?»

Мраморный столик, красные трусы – первая дань, возложенная на жертвенник семейного алтаря, память о чудесной, сказочной игре, которую задумали сыграть отец и мать; реалистические трусы и мифический столик, вам выпала честь стать волшебным паролем, по которому в любую минуту их долгой, никем не предсказанной жизни они могли вернуться в тот миг и час, когда еще ничего не произошло и вся жизнь впереди казалась бесконечной и желанной в каждую свою минуту.

«Ма-а-ам, а почему ты так долго не выходила замуж?»

«Почему это долго, ничего не долго. Как только встретила

умного молодого человека, сразу вышла замуж».

«А до папы, что ж, и умных не встречала?»

«До папы нет».

Голос у мамы был не только красив, но и богат оттенками, и владела она им с таким же мастерством, как Мравинский своим оркестром.

При абсолютном слухе и идеальной музыкальной памяти она могла, придя домой из театра или кино, сесть за пианино и сыграть только что услышанную песенку или задевшую душу мелодию со стенографической точностью. Папа, игравший Бетховена, Брамса, Рахманинова, Скрябина только с листа, восхищался маминым слухом и голосом и не то чтобы завидовал, но как бы сетовал на себя, что лишен такого волшебного дара. Разговаривая на самые обыденные темы, лишь благодаря необыкновенным оттенкам своего голоса, она могла просто обворожить собеседника, если хотела, конечно, или была в том нужда. Можно себе представить, как мама разговаривала с начальником 19-го отделения милиции, когда, вернувшись после эвакуации, пришла для восстановления прописки.

«Все хочут жить в Ленинграде», – сказал начальник милиции и в прописке отказал, видимо, со слухом у него было не все в порядке.

Осанка. Фигура. Стан.

Лучше всего об этом скажет серебряный конькобежец на голубой искрящейся эмали, значок чемпионки Ленинград-

ского торгового порта по скоростному бегу на коньках 1934 года. И даже высокий полный бюст, не часто встречающийся у спортсменок, не мешал маме первенствовать и на средних, и на длинных дистанциях.

Зная маминых сестер и их ленинградских подруг, надо сказать, что и она, и они принадлежали к тем типичнейшим и благородным лицам, обязанным своей культурой, вкусом и нравом не столько происхождению и даже не образованию, тем более не капиталу, но лишь самому городу, где Русский музей, Александринский театр, оперная студия консерватории, Эрмитаж, Мариинка, Филармония были и школой, и университетом, и академией. В Мариинке была освоена галерка, в Филармонии, естественно, места на хорах, в консерваторию вход открывала знакомая билетерша, родная тетка Люси Минкиной.

Поразительно, мама, это с ее-то данными, плюс молодость, женственность, стать, а на места в партере не претендовала!

«Да что там делать, там одно старичье!»

Ну как тут не оглянуться на дам, располагающих всего лишь какой-нибудь необыкновенной мушкой на правой щеке или родинкой под левой грудью и пребывающих благодаря этому счастливому дару в искреннем ощущении своего права не только на исключительное внимание со стороны благоухающих мужчин, но и на целую исключительную жизнь.

Все пригороды и окрестности Ленинграда, Стрельна, Гат-

чина, Ропша, Павловск, Петергоф, Пушкин были изъезжены и исхожены, и, словно по инерции, летом сорок седьмого и сорок восьмого годов мама возила нас с братом по всем этим местам, предъявляя к обозрению руины, развалины, пепелища, обвалившиеся потолки, обгоревшие стены, груды камней, вызывавшие у нас скуку и недоумение, а у нее – умиление, трепет и воспоминания.

Маминым девизом, повторявшимся с той же частотой, с какой нынче поминаются недосягаемо образцовые «цивилизованные» страны, была бесхитростная формула: «Хочу, чтобы у нас было все как у людей». Девиз этот вовсе не призывал «подражанию, в нем скорее обнаруживался протагоровский смысл, идея человеческого как меры.

Ее вечный вопрос «Ну почему, почему у нас все не как у людей?» был адресован не только папе и нам с братом, а иногда и властям, и даже самому правительству, но никто удовлетворительного ответа на этот вопрос так маме и не дал.

О! Это проклятое «все не как у людей» едва ли не всю жизнь преследовало маму.

Взять те же роды.

Первый раз, когда предстояло разрешиться Сережей, папа отвез маму, как и полагается, в родильный дом на такси. С моим же появлением на свет и тем более с Борькиным все уже обстояло как-то странно, то есть как раз «не как у людей».

Не располагая сколько-нибудь убедительными данными о

привлекательности этого мира, я не спешил покидать материнское лоно; прошли все ранние сроки, а потом и средние, и поздние. Скорее всего, в задержке моего появления на свет сказалась та природная нерешительность, что стала чертой характера еще до всяких испытаний и опытов.

Дело было летом, страха и надежды, сопутствовавших ожиданию первенца, у отца уже не было, он был согласен и на дочку, так что сидеть в городе и чего-то ждать не имело смысла. Он подхватил Сергея и уехал с ним на дачу. Но уже вечером в тот же день бабушке пришлось везти маму на трамвае в клинику Отто, что на задах Фондовой биржи, на самой Стрелке Васильевского острова. Место, если правду сказать, примечательное для всей планеты и, может быть, одно из лучших: именно здесь изысканнейшие творения мастеров и художников украсили не по речным законам живущую, могучей силы реку, но и река именно здесь явила все свое великолепие, став подножием славы и красоты небывалого города!

Да и клиника, полученная лейб-акушером профессором Оттом за особые услуги царствовавшему дому, являла собой безусловное совершенство, вобрав в себя все самые лучшие, самые замечательные средства родовспоможения, вплоть до орг*а*на, установленного в специальном зале для музыкального ублаготворения рожениц. Орг*а*н был настолько хорош, что впоследствии был трансплантирован в Филармонию.

Через два года туда же, в клинику Отта, оставив нас с Сер-

геем на попечение бабушки, в ноябре сорок первого года матушка двинулась и вовсе пешком.

«Вы кого тут ищете, гражданочка?» – любезно спросили маму в знакомом вестибюле с высоченными потолками военные, одетые в белые халаты.

«Я сейчас буду рожать!» – высоким голосом с достоинством опытной матери объявила матушка.

«Только не здесь, у нас здесь, гражданочка, госпиталь, вам надо на Четырнадцатую линию…»

«Все у вас не слава богу», – с горечью сказала мама, видимо, припомнив, как в этой лучшей клинике на свете своего второго сына, стало быть, меня, ей пришлось рожать в кровати, что и неудобно, и довольно опасно. Все ее сдержанные интеллигентные предупреждения: «Сестрица, я сейчас рожу» натыкались на суровый окрик сестрицы, не удостаивавшей матушку даже взглядом: «Мамаша, проявите сознательность, у нас сложные роды!» Лучше, если бы она эти слова адресовала мне, но я их не слышал. Итак, на помощь со стороны рассчитывать не пришлось, и ничего не оставалось делать, как самостоятельно появиться на свет. И что же? На протяжении довольно-таки длинной уже жизни я пытался не раз и не два привлечь в затруднительных обстоятельствах внимание к своей персоне, но тут же постоянно слышал о «сложных родах», которые без конца идут где-то рядом. Вот и сейчас идут сложные роды явно дебильного капитализма. Слава богу, что Борьку маме не пришлось рожать в вестибю-

ле непревзойденной акушерской клиники, уже нанесенной на огневой планшет как цель номер 708 батарей 768-го тяжелого артиллерийского дивизиона резерва немецкого главного командования.

Подъехала машина, привезли раненых, раненых было немного, разгрузили быстро.

«О! как раз раненых привезли, мы их сейчас, родимых, быстренько раскидаем и вас подкинем…»

Едва проскочили по Большому проспекту 9-ю линию, как на углу, напротив типографии Академии наук, жахнул тяжелый снарядище. Начинался артобстрел. Опять «все не как у людей».

В родильном доме на 14-й линии прямо из приемного покоя повели в бомбоубежище.

«В подвал, мамаша, в подвал, скоренько-скоренько, от смерти пошли прятаться…»

Говорят, если роженицу испугать, может скинуть, и родимчик, и еще что-то. Маму к этому времени снаряды не пугали, что ли? Или о нас, оставшихся дома, думала. В общем, трудно догадаться, о чем думает молодая женщина перед родами во время артобстрела.

Как только сыграли отбой, сразу на каталку.

«Вот так Боренька и родился… вылитый отец».

Родился Боренька легко. Чтобы дать представление о его сходстве с папой, мама всегда показывала самую их первую фотографию, снимались перед женитьбой; папа толстогу-

бый, лобастый и очень серьезный.

Ленинград мама не защищала и потому, естественно, медали «За оборону», в отличие от своих брата, сестры, племянника, племянницы и золовки, удостоена не была, а до лестного звания «ЖБЛ», «Житель блокадного Ленинграда», просто не дожила. Да и блокады ей досталось всего ничего, с сентября сорок первого по февраль сорок второго года. За считанные эти месяцы только и успела, что одного родить, троих похоронить и двоих спасти, то есть вывезти через Ладогу свою «гвардию», одному «гвардейцу» не было трех, второму исполнилось четыре.

День прорыва блокады и день снятия блокады мама чтила свято, не так, как Пасху или 7 ноября, окна в квартире не мылись и полы не натирались, но в эти дни мама всегда была по-праздничному возбуждена, хлопотлива и готова к приему гостей, если кто заглянет.

Четвертое февраля, день смерти Бори и бабушки, маминой мамы, Ольги Алексеевны, также чтили свято, пеклись блины. А вот день смерти папиной мамы, Каролы Васильевны, пришелся на первое декабря сорок первого года, на годовщину злодейского убийства Сергея Мироновича Кирова, в честь чего многие годы в Ленинграде в этот день на улицах и площадях вывешивали траурные флаги, а с другой стороны, это был день рождения одной из драгоценных родственниц, так что бабушку, конечно, поминали, но отмечались лишь круглые даты.

Крупнейшим событием 1942 года стала смерть бабушки и Бори.

Третьего февраля сорок второго года, вечером, бабушка, уже давно не вставшая и лежавшая на оттоманке для тепла рядом с Борей, родившимся в ноябре, сказала маме: «Анечка, ты не плачь, сегодня ночью мы с Боренькой умрем».

Мама, как человек разумный и единственный из нас пятерых еще державшийся на ногах, произнесла свое обычное: «Не ерунди!»

И в комнате с заледенелыми окнами, с постелями, больше напоминавшими сугробы из одежды и одеял, стало тихо.

Кто-то прошел мимо нашей двери по коридору; протяжное, тягучее шарканье подошв в холодной тишине было отчетливо слышно, казалось, что человек не идет, а его кто-то рывками тянет по полу. Шарканье медленно удалялось, потом отчетливо лязгнул английский замок, это Прасковья Валериана. Шахмаметьевы накидывали крючок, тоже было слышно.

«Анечка, ты укрой меня чем-нибудь… холодно…»

Мама еще не спала, слышала шаги в коридоре, но бабушкиных слов не услыхала. Не расслышала бы, и если б догадалась поднести ухо к самым губам, сморщенной вороночкой опрокинувшимся во впалый рот. Бабушке показалось, что она говорит, но это был уже голос в том сне, от которого не просыпаются, и холод, подступавший снизу, вкрадчиво, без спешки, был тот холод, от которого ничем не укроешь.

В феврале, в ясный день, в половине девятого утра довольно светло, и хотя окна, заклеенные бумагой крест-накрест, покрытые наледью и отчасти забитые фанерой, пропускали света немного, мама увидела, что Боря и бабушка уже холодные.

Совет бабушки не плакать, представьте себе, мама выполнила и заплакала первый раз после смерти матери, сына и свекрови лишь в конце марта, в Череповце, когда сознание, как можно предположить, уже освободилось от величайшей сосредоточенности выживания и позволило нервам роскошь нормальной реакции на в общем-то довольно печальные события.

Если же говорить строго, в норму все так никогда уже и не вернулось. Мамы не стало в восемьдесят восьмом, через сорок три года после конца войны, а я несколько лет после ее смерти находил в нашей старой квартире, с обилием стенных шкафов, закутков и потаенных мест, кулечки и пакеты из-под сахара, набитые прогорклыми сухарями, нашел какую-то обратившуюся в прах рыбину, замотанную в тряпицу и газеты, натыкался в самых неожиданных местах на пакетики с ванилином, этим душистым флагом благополучной кухни, а также на разнообразные коллекции мандариновых корок. К сожалению, способ хранения этих потаенных жизненных припасов исключал возможность их употребления в пищу. Больше всего по квартире было запрятано мандариновых корок, и понятно почему. Мама рассказывала, как нашла в бло-

каду на круглом навершии нашей голландской печки мандариновые корки, закинутые туда из озорства в предвоенное новогодье. Значение этой находки мама явно преувеличивала. А к еде у нее на всю жизнь осталось отношение религиозное, и вовсе не потому, что жили туго, напротив, уж что-что, а стол в доме всегда славился красотой посуды, вкусом в сервировке, изобилием и кулинарной изысканностью яств, – слава богу, отец был и лауреатом, и заслуженным, и директором целого проектного института на Мойке, рядом с Невским.

Но, может быть, самой большой маминой странностью и причудой была «Борина» могила, занимавшая особое место среди разного рода всплесков и фантазий, не всегда безобидных, в общем, нормальным людям не очень-то свойственных.

В этих фантазиях, глубоко внутри, было что-то тяжелое, именно не мрачное, а тяжелое.

Ну откуда могла взяться «Борина» могила, это же смех один, если не то что о двух могилах, о двух гробах и то мечтать было нельзя.

Денег кладбищенские в феврале не брали, то есть брали, конечно, но только в добавку к хлебу. Им же мерзлую землю долбить, тоже надо понимать, тем более что морозы в январе стояли страшные.

Так вот, похоронили бабушку и Борю в одном гробу, Борю положили в ноги и, естественно, в одну могилу, и все

равно за двойную плату плюс золотой крестик, поскольку на Смоленском кладбище, выползшем к этому времени на правый берег реки Смоленки и широко там разметнувшемся, Борю как прописанного на Васильевском острове, как местного жителя принимать соглашались, а бабушку как прописанную аж в Ленинском районе, на Измайловском проспекте, проспект Красных Командиров в ту пору, у средней дочери Таточки, по суровым законам военного времени принимать отказывались.

С Борей еще ничего, его мама положила между рамами, и он мог лежать хоть до весны, так люди делали, а вот бабушку надо было хоронить. И хоронила ее как раз Таточка, притащившаяся с проспекта Красных Командиров со своим двенадцатилетним сыном Анатолием.

Надо сказать, что по нраву своему Татьяна Петровна, Таточка, была хетагуровкой, так именовались девушки, откликнувшиеся на призыв ехать осваивать Дальний Восток. Осваивать она почему-то не поехала. Собственно, против был Саша, ее муж, а вот поехали бы, может, Саша и уцелел бы, а так его в тридцать восьмом взяли и только в шестьдесят седьмом семье выдали справку на папиросной бумаге в ладошку величиной, где можно было кое-как разобрать, что осужденный по статье такой-то за отсутствием состава преступления посмертно реабилитирован на основании постановления такого-то от такого-то числа. Кроме справки, кстати сказать, выдали и самодельный портсигар, деревян-

ную коробочку с крышкой, очень изящно сделанную, а на крышке из соломки на клею выложен тончайший рисунок: вышка, часовой на вышке, прожектор и ограда из проволоки в два ряда, по тщательности и мастерству просто китайская работа, понятно, откуда у сына Анатолия серьезные художественные наклонности.

В связи со смертью, постигшей бабушку и Борю, Татьяна Петровна развила необыкновенную деятельность, в чем в полной мере проявился ее хетагуровский характер, например гроб достала. С одной стороны, это можно было бы считать и чудом, но ведь в ту пору бывало и так: идет человек, тянет гроб к кладбищу, видит, что ему не дойти, оставляет, докуда довез, и хорошо, если домой отправится, а то здесь же, в сугроб, и ткнется. Находчивые люди такие беспризорные гробы тут же, как нынче говорится, приватизировали с целью выгодной продажи, спрос был, и спрос был большой, а то можно было использовать гроб и как средство обогрева. Предприимчивый человек нигде не пропадет! Был ли у бабушки гроб заказной или second hand, установить трудно, потому что о его происхождении Таточка никогда не распространялась. Гроб вообще-то был немножко великоват, а это верная примета, что покойник еще кого-нибудь с собой прихватит. Так и вышло, в начале апреля Таточка разрешилась Ниной, а летом уже Ниночку пришлось похоронить.

Именно добыча гроба повлекла за собой как следствие необходимость выполнить надлежащий ритуал и похоронить

Бореньку и бабушку по-человечески. Не подвернись гроба, может быть, и все как-то решилось бы попроще и не имело продолжения.

Расстелив на полу байковое одеяло, Татьяна Петровна решила помыть Ольгу Алексеевну прямо здесь, в комнате.

На кухне соседи в складчину топили плиту, и можно было пристроиться, чтобы согреть воды. Анатолий хотел натопить снега, чтобы не тащиться на 6-ю линию к пробитому водопроводу, откуда все носили воду, но от растопленного снега, казавшегося, на первый взгляд, идеально белым, вода получилась и грязной, и с нехорошим запахом. Мать погнала за водой на 6-ю линию.

Мертвая бабушка и синий Борька, величиной чуть больше батона, вовсе не вызывали страха. Приученный к мысли о том, что смерть его никогда не коснется, Анатолий не разуверился в этой мысли и за полгода жизни рядом со смертью. Правда, иногда жить не хотелось, просто не хотелось жить, от мороза, от голода, от пустоты, вдруг пронизывавшей всего насквозь. Тело становилось невесомым, а безнадежность убивала даже желания, и само ощущение жизни как бы исчезало, все предметы, улица, дома, даже собственные руки; ему казалось, он видит откуда-то издалека-издалека. Но именно в эти минуты мыслей о смерти как раз не было, впрочем, никаких других тоже, было только удивление: куда же я делся, почему все стало так далеко?

Татьяна Петровна, со своим вздувшимся животом казав-

шаяся все время объевшейся, хотя лицо имела впалое и серое, по возможности сына щадила.

Анатолий таскал воду, грел, но в комнату, где мама мыла бабушку, допускаем не был, только когда умытые, прибранные, бабушка в белом в мелкий горошек платке, а Боря в голубом чепчике и хорошей синей пеленке, лежали рядом, мать позвала Анатолия, чтобы положить «наших милых», как она выразилась, в некрашеный, но вполне добротный гроб. Бабушка, такая небольшая с виду, оказалась тяжелей, чем Анатолий рассчитывал.

На следующий день соседи помогли спуститься с лестницы и закрепить все на санках. Все удивлялись и хвалили Таточку. На улицах постоянно везли покойников, но увидеть гроб в ту пору было уже большой редкостью.

Малый проспект в сравнении с такой богатой магистралью, как Средний, не говоря уже о Большом проспекте, конечно, неказист и берет свое начало от сиротского дома имени Марии Магдалины, куда можно было в прежние времена, не открывая лица и не называя имени, сдать нежелательного сына или дочку. А заканчивается Малый проспект, словно для аллегории, кладбищами.

Река Смоленка мало напоминает Лету, реку забвения, вытекает она из Малой Невы, как раз неподалеку от дома для брошенных младенцев, самостоятельно впадает в Финский залив и отделяет низменный остров с несуразным названием Голодай от обширного Васильевского острова. Обиль-

ные захоронения выходцев из Смоленской губернии, привлеченных к строительству великого города, дали название и Смоленскому полю, кстати сказать, месту казней, речке, вернее, извилистому неширокому невскому рукаву, ну и кладбищам, украсившим нижнее течение реки Смоленки. Говорят, в начальные годы здесь хоронили острожников прямо в кандалах, потом уже пошли смоленчане, еще позднее где-то закопали пятерых повешенных декабристов, а с годами оба берега Смоленки оказались обжиты тремя кладбищами, огромным Православным на левом берегу и двумя поскромней на правом, Армянским и Лютеранским, но даже вместе они не могли удовлетворить в войну всех желающих быть похороненными, пришлось добавлять еще и четвертое, чисто Блокадное.

Разговоры о том, что для блокадников открыли новое Смоленское кладбище, шли уже давно, и дорогу туда найти не составляло труда, хотя передвижение по городу, заваленному снегом, как легко себе представить, было делом непростым, особенно ближе к окраинам. В центре еще кое-где пытались очистить трамвайные пути силами горожан, собранных по трудовой повинности, но смысла в такой работе было мало. Во-первых, с 8 декабря трамвай больше не ходил, а во-вторых, эти трудармейцы махнут лопатой раз-другой, вяло и полусонно, и плетутся куда-нибудь в подъезд погреться, хорошо еще, если сам потом сумеет на улицу выйти…

В январе, начале февраля, да практически весь февраль,

в городе было совсем скверно.

Энергии не хватало не то что на трамвай, но и для насосов городской водопроводной станции, потом и для типографии «Ленинградской правды», для хлебозаводов и для городского радиоузла. Радиопередачи, временами едва различимые, подавались то в один, то в другой район города, что было особенно неудобно в связи с постоянными артобстрелами, требовавшими оповещения граждан о грозящей опасности.

Дороги к кладбищам были и накатанными, и наезженными, поскольку поток был большой, особенно по воскресеньям. Зимой еще хорошо, саночки или лист фанеры с привязанной к нему веревкой, а весной? а летом? – повезут на немыслимых тележках, повозках, даже в детских колясках, понесут на носилках, приспосабливая для такой ноши лестницы; детей понесут на руках, как Таточка понесет Нину. Была организована, разумеется, и коллективная доставка, возами и реже на грузовиках. Гробы были большой редкостью, очень мало, в большинстве своем отмучившихся и отстрадавших заворачивали в простыни, в мешки, отчего они казались буквально снятыми с виселицы где-нибудь на Семеновском плацу или на том же Смоленском поле, поскольку в Санкт-Петербурге вешали цивилизованными способами, то есть в специальных балахонах. Завернутые в одеяла не вызывают таких нежелательных ассоциаций. Прикрывать груды скорбного груза в кузовах и на подводах то ли нечем было, то ли некогда, да и что стесняться, все кругом свои,

как говорится, поэтому ограничивались только веревками, которыми кузова и подводы обматывали, чтобы не растерять груз по дороге.

Анатолий и Таточка навалились по-бурлацки на веревки и двинулись по 8-й линии; около часовни, построенной значительно позже собора, сейчас там, кстати, бар и казино, повернули налево по Малому проспекту, хотя можно было пройти прямо, выйти на Уральскую улицу, так было бы немножко короче.

День был ясный, солнечный, небо празднично голубело, и на оборванных трамвайных проводах, на перепутанных проводах уличного освещения искрился иней. Было красиво и немножко таинственно, потому что ощущение жизни как бы исчезало, все предметы, улица, дома, даже город казался давно уже брошенным, из-под сугробов выглядывали заваленные снегом машины, во вросшем в снег автобусе, за покрытыми изморозью стеклами, можно было различить двух пассажиров, зашедших, видимо, погреться сюда еще месяц назад.

Зима и так сгущает жизнь, а тут еще в такие холода все живое старалось сжаться, скукожиться, затаиться, притвориться мертвым.

Однако проспект нельзя было назвать безлюдным, немного граждан, но были, бродили в поисках воды, везли на саночках обгорелые доски, везли покойников… У булочной неподвижно, словно замерзнув насмерть, стояла очередь че-

ловек в тридцать, с утра ждали хлеба. Присыпанные снежком, со спрятанными лицами, они были похожи на тех, кого грудами, тоже присыпанных снегом, везли на Голодай.

Между 13-й и 14-й линиями выгорел шестиэтажный домина, выгорел в декабре, тогда еще пытались тушить, судя по огромным сосулькам на черных проемах окон уцелевшей фасадной стены; окна были похожи на глаза с ледяными ресницами.

Ну, выгорел дом и выгорел, но оттого, что его пытались тушить в мороз, вода, вылившаяся на проспект в большом количестве, образовала ледяной каток. Изо льда торчали неплохие вещи, выброшенные жильцами на улицу в начале пожара, теперь все вросло в лед, и, чтобы вырвать из ледяного плена ту же швейную машинку, может быть, и не разбившуюся, нужно было поработать ломом и хорошо попотеть. От мебели же остались только торчащие изо льда обломки, все, что можно было унести и сжечь, унесли и сожгли.

На ледяном нарасте, коварно припорошенном снегом, ноги скользили, санки с гробом выходили из повиновения и норовили опрокинуться. Анатолий три раза шмякнулся, и, не будь на нем надето трое штанов, наверняка бы разбил коленную чашечку. Выручила и лыжная палка, с которой не расставался. Таточка ругала дураков-пожарных, наливших столько воды, а дом не спасших. То, что они отстояли два соседних дома, она в раздражении своем во внимание не брала. Больше всего она боялась обстрела и всю дорогу молила:

«Не приведи бог обстрел начнется… куда мы с ними… на улице не бросишь… вмиг гроб упрут… и все насмарку…» Рассуждения вслух, которые бормотала Таточка с придыханием, лишь отчасти напоминали молитву, хотя и перемежались призывами: «Господи, пронеси и помилуй». Не очень-то рассчитывая на чистое милосердие, она вкрапливала в свое обращение к высшим силам элемент договора: «Господи… только сегодня… без обстрела… Господи… дай похоронить… завтра… да будет воля твоя… хоть целый день стреляй…» Она уже явно заговаривалась, и в хрипловатом голосе, сбивающемся от ходьбы и напряжения, не было ни кротости, ни смирения.

Молитва, надо думать, была услышана, в этот день снаряды рвались только на Выборгской стороне около Финляндского вокзала и на Кировском заводе.

Свернув по 16-й линии направо и оставив слева арку у входа на Православное кладбище, где на мраморной доске написано, что где-то на территории этого кладбища покоится Арина Родионовна, пушкинская няня, Таточка, мелко перекрестившись на храм Светлого Христова Воскресенья, мысленно еще раз попросив у сил небесных помощи в ее тяжком деле, втащила саночки на мост через Смоленку и поволокла дальше, оставив с правой руки Лютеранское и Армянское кладбища, где тоже похоронено множество интересного народу, например основатель Одессы Хосе де Рибас. А тут уже было, как говорится, рукой подать до конторки, построенной

перед обширным снежным полем, уходящим в сторону залитого солнцем залива.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.